Е.Гофман

ТРУДЫ КОНСТАНТИНА ИЗ ПЕТРОПОЛИСА

Вспоминается картинка послевоенного детства: пестрый шатер карусели на Сытном рынке, а может, в Зоологическом. Когда запускалась она, врубалась соосная с нею пластинка, веселая.- Саша! Ты помнишь наши встречи?! В тенистом парке, на берегу? Или что-нибудь в этом роде. Цвели на янтарном от солнца снегу синие тени-пятна. Горел золоченый архангел на Петропавловке. Детишки, напряженно и радостно улыбаясь, ухватившись за уши аляповато раскрашенных осликов, горбы верблюдов, кружились в каком-то счастливом остолбенении. Бравые подростки в форменных темносиних шинельках, на затылок сдвинутых картузах, подбочась погоняли коренастых буденновских коников, выжимали газ у почти настоящих, к платформе пришпиленных мотоциклов. Счастливые матери не могли наглядеться на радостный детский праздник.

И вдруг пластиночку заедало. Саша! Саша! - истерично и монотонно продолжала вскрикивать некая Клава. Эти-то монотонные выкрики заезженной, забубенной пластинки и нарушали праздничную иллюзию. Осыпалась с глаз золотая пыльца, и внезапно открылось замурзанное хавло совсем не веселой реальности. Вот заезженные тяжелой работой, иссосанные простым бабьим горем вдовицы в черных платках на последние грошики развлекают свою полуголодную, рахитичную пацанву; злобные сироты нелегкого переходного возраста, голь-шмоль, безотцовщина с бритвами и ножами в карманах ремесленной обмундировки сама себя пытается веселить на тиснутую по трамваям мелочугу; одинокий инвалид на самодельном деревянном протезе, увенчанном нашлепкой водопроводного сгона - распорядитель карусели, - улыбается пьяно и некрасиво, неторопливо прицениваясь, кого бы из предстоящих баб зацепить на ночку грядущую, по грубой мужской нужде.

Вспоминается эта двоящаяся картина, когда читаешь романы Вагинова. Ибо видеть в веселом - ужасное, этот горькое свойство глаза, было присуще ему в полной мере. И радостно-гадостная реальность богоспасаемой нашей отчизны - Города - услужливо этому свойству сопоспешествует.

Особенно обостряется эта двойственная черта в минуты, так сказать, геологического излома эпох, столь остро прочувствованного старшим современником Вагинова:

Хорошо, что нет царя,
Хорошо, что нет России,
Хорошо, что Бога нет,
Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет...

Что в этих стихах? Ощущение колоссальной тектонической сдвижки социальных эпох, сравнимой лишь с наступлением иного геологического периода, мелового или ледникового. Но смена земных эр - это слишком крупно, глобально, не в минуту творится. Вот и копошатся сиротеющие пережитки былой флоры и фауны, пытаясь жистянку свою сберечь, упасти, как-то продолжить свое неактуальное существование:

"Вдоль стены стояли бывшие дамы, предлагая: одна - чайную ложечку с монограммой, другая - порыжевшее, никуда не годное боа, третья - две рюмочки, переливавшие семью цветами, четвертая - тряпичную куклу собственного изделия, пятая - корсет девятисотых годов. Та седая старушка - свои волосы, выпавшие еще в ранней юности и собранные в косичку, эта - сравнительно молодая, - сапоги довольно поношенные своего умершего мужа".

Те же попытки выживания за счет сохранения прежних ценностных мелочей, или мелочной торговли наблюдаем мы и в культурной среде:

" - Мы последний остров Ренессанса, - говорил Тептелкин собравшимся, - в обставшем нас догматическом море; мы, единственно мы, сохраняем огоньки критицизма, уважение к наукам, уважение к человеку; для нас нет ни господина, ни раба."

С тем же пафосом, с которым невиннейший старичок - Василий Васильевич Ермилов цепляется за воспоминания о своей давно умершей дочери (тоже черта неслучайная) - Тептелкин хватается за ветшающие тряпицы так называемых "вечных культурных ценностей". Но перемены происходят нешуточные, прелая ткань рвется, и честный клубный работник, он же солидный гуманитарий, орлом садится на место "видного, но глупого чиновника". Смутировал. Приспособился.

Но он и ему подобные, в сущности, обречены гибели, пускай не всегда телесной. Вот почему в речах персонажей звучит такая предельная безнадега:

"Послышались мужские шаги. На дороге появилась сморщенная цыганка в высоких смазных сапогах. Увидев башню и компанию, она быстро побежала к ней:

- Дай погадаю, дай погадаю! Глаза твои заграничные!

- Не надо, не надо, - говорили ей, - мы свое будущее знаем!"

Разлом привычных приемов и представлений, сквозь которые пробивается вулканический огонь и сера нового, еще пламенеющего бытия, приводит к самоостранению жизни, к тому, что гротеск - главное свойство вагиновского мироощущения - наиболее адекватен, как способ ее изображения.

"Уже дома (Торепуло) обратился к Нунехии Усфазановне:

- Ведь ананасы бывают двух пудов, и у нас были такие ананасы, вот, например, в 1866 году, на обеде в честь производства купца Громова в статские советники был такой ананас.

- Неужели был? - спросила Нунехия Усфазановна, бросив возиться у примуса, и глазки у нее разгорелись, - должно быть, очень вкусный! - добавила она, - а теперь нет даже самых маленьких. "Ну, маленькие-то будут, - с горечью подумал Торопуло, - а больших-то не будет."

Читаешь, и пытаешься осознать, то ли сама реальность подсказала столь внушительный плод, величиною с осадное ядро (в тексте "Бамбочады" меню обеда приведено почти полностью, как реальный документ), то ли это буйное преувеличение разыгравшейся авторской фантазии? В сущности это не важно, ибо жизнь на изломе то и дело подсовывает несоразмерности в духе Бамбоччио.

Углубим прежде сказанное. Может очень легко показаться, что живописует автор только лишь краткий исторический отрезок, реальные жизненные трагедии, связанные с переменой образа правления. Подобный взгляд был бы поверхностным. Ему, тонкому знатоку человеческой культуры, истории человеческой, интеллигенту круга Бахтина, было бы слишком мало подобного сиюминутного отражения.

"...Мы теряем волосы, зубы, идеалы, здоровье, свежесть"... Прошу ~~жжжжжж~~ извинения, я, кажется, перепутал цитаты. Это у Беккета. У Вагинова о том же, но, может быть, легче и живописнее:

"Лишенная листьев, меня помнит, как мы сидели под ней много, много лет тому назад белые, желтые, розовые и говорили о конце века. Тогда зубы у нас были все целы, волосы у нас тогда не падали (вспомните старуху, торгующую своими юными волосами - Е.Г.) и мы держались прямо"...

В этом отрывке описываются, как будто, последствия разрухи и гражданской войны. Но ему был ведом образ смерти живородящей, старухи беременной. Вечная гибель. Но и вечное возрождение. Такова сознательная двойственность его отношения к бытию, не только, как принято думать, пессимистического. Тому свидетель - неизвестный поэт, один из рупоров авторского мировоззрения:

"Если вы думаете, что мы погибли, то вы жестоко ошибаетесь, - продолжал неизвестный поэт, играя глазами, - мы особое, повторяющееся периодически состояние и погибнуть не можем".

В чем же, все-таки, секрет видимой обреченности вагиновских героев? Почему их поведение, сам рисунок их судеб может быть истолкован, как внутренняя капитуляция?

Да потому, что все они, люди милейшие, читающие в подлинниках не только кулинарные сочинения всего мира, есть наследники культуры гуманистической. И "огонькова критицизма" - недостаточно в данных обстоятельствах для того, чтобы сохранить свою нравственную физиономию. Пусть они "духовно плюнули на проходящих мимо пионеров". Сами прекрасно ведь понимают, что это - всего лишь жалкая фронда. Пусть негодует Тептелкин:

"Современники, - думал он, - отличаются невозможной формой изложения, полным отсутствием духа критики, крайним невежеством и чрезвычайной наглостью".

Пусть так. Но не следует забывать, что идеи, которыми руководствуются "современники", есть крайнее выражение гуманистической, от Возрождения идущей традиции, разбожествившей отношение к человеку. И тептелкинской среде, возросшей на гуманистических принципах, тут нечего по существу возра-

зить. В прозе Вагинова есть и мистики, и философы, и шуты. Нет только верующего человека, который, может быть, единственный из из всех смог бы высказаться "по делу". Лишенные субстанции исповедания, жизни и культура в своей основе обезоружены. А она, культура то есть, является главным героем вагиновской прозы.

Я специально не систематизирую цитат из разных его романов. На мой взгляд, все три книги Вагинова - единый роман о судьбах русской культуры, вернее, о судьбах мировой культуры в России. В самом предмете вагиновского повествования заключается его оригинальность. Ибо, после Пруста, это, на мой взгляд, наиболее интересная проза, героем которой выступает культура, дорогая для нас еще и по своим интимным, кровным деталям. То, что герой Вагинова - реальность надличностного порядка - формирует характер его письма. Это нескончаемый авторский монолог, в сущности, эссеистического плана, монолог то лирический, то горько-ироничный, то звучащий затаенною болью, то отдающий должное обычной и всегда новой радости человеческого прозябания. Игривый монологизм автора, тонко приоткрываемый, коренится в условности, масочности его героев, которые ничто суть иное, как фантомы, не имеющие закрепленных свойств, и "неизвестный поэт" - вдруг - "Агафонов" - фамилия намеренно низовая, чревоугодник Торопуло - вдруг сам упивающийся пейзажем ночного Города автор, желающий поделиться с нами своим упоением:

"В это время персиковое освещение дня сменилось для Торопуло гранатовой окраской вечера и предчувствуемым виноградным зеленовато-голубоватым светом белой ночи.

Когда настало это сладостное виноградное освещение фонарей, вышел Торопуло. Чудный мир, привнесенный им, улыбался ему; просил назвать себя и показать другим людям."

Именно в том, что герои Вагинова живут эфемерной жизнью, и заключается секрет как бы небрежного обращения автора с сюжетом, когда сюжетная линия вдруг бросается на полпути, ибо неважно, что дальше сталось с той или иной тенью - она свое за автора отговорила. Сам он непрочь приоткрыть завесу над своим творческим методом: